

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
Портфель Гоголя	6
Сердца трех (Василий Жуковский и сестры Протасовы)	20
Большое путешествие Ивана Гончарова	32
«Самый русский писатель» (Николай Лесков)	47
Последний приезд (Толстой в Москве)	63
Тихие песни Иннокентия Анненского	75
«Пленник культуры» (Дмитрий Мережковский)	87
Одиночество и свобода Владимира Набокова	116
Искушение Михаила Булгакова	142
«Божья дудка» — Сергей Есенин	169
«Быть вместе и уцелеть» (Нина Берберова и Владислав Ходасевич. Две жизни — одна любовь)	186
«Всех живущих прижизненный друг» (Осип Мандельштам)	200
«Полета вольное упорство» (Борис Пастернак)	228
«Первобытный» Платонов	245
«Таивший в себе миры» (Валентин Катаев)	258
«Гонимый баловень судьбы» (Константин Симонов)	273
«Дворянин с арбатского двора» (Булат Окуджава)	288
Александр Фадеев: «Не вижу возможности дальше жить» (Судьба комиссара)	300

ПРЕДИСЛОВИЕ

Русская литература в послепушкинский период совершила за какие-нибудь три четверти XIX столетия феноменальный рывок, догнав ведущие европейские литературы, которые развивались и совершенствовались веками. Давление цензуры не помешало появлению в столь короткий срок поразительно разнообразных шедевров отечественной прозы и поэзии. Увы, зачастую жизнь их творцов тоже оказалась коротка. И во многом трагична.

А рядом с ними мы видим прозаиков и поэтов так называемого «второго ряда», без которых не было бы «первых» и которые сами по себе замечательны, уникальны. Так, Жуковский по своему «подготовил» Пушкина, а Лесков — Достоевского. И. Анненский открыл дорогу А. Блоку и другим символистам. Мережковский (как и А. Белый) предвосхитил европейский «экспериментальный» романа в творчестве Т. Манна, Г. Гессе, Дж. Джойса.

Со смертью Чехова в 1904 году и Льва Толстого в 1910-м «золотое сечение» отечественной литературы классического периода не померкло. Первым русским писателем, удостоенным уже во Франции Нобелевской премии, стал Бунин, подобно многим талантливым собратьям по перу, покинувший после Октябрьской революции Россию.

Распавшись на две ветви, советскую и эмигрантскую, наша литература дала в первой половине минувшего столетия таких вершинных прозаиков общемирового масштаба, как Платонов, Булгаков, Набоков. А также непревзойденных, но трудно переводимых поэтов — Мандельштама и Пастернака. Этим корифеям сопутствовали, их оттеняли, им корреспондировали в литературном процессе яркие и оригинальные мастера слова В. Ходасевич и Н. Берберова.

Во время недолгой хрущевской «оттепели» все они вернулись своими произведениями на Родину и были заново восприняты легендарными «шестидесятниками» — В. Аксеновым, А. Гладilinым, Б. Окуджавой, Б. Ахмадулиной, А. Вознесенским, Е. Евтушенко и Р. Рождественским. Дорогу в литературу им открыл

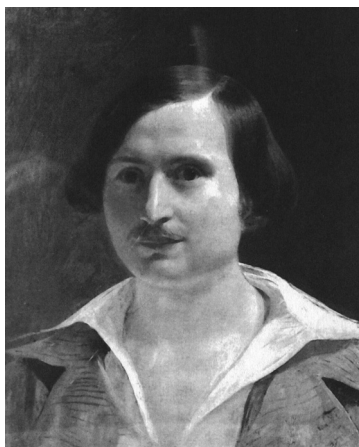
тогдашний главный редактор журнала «Юность», ученик Бунина, В. Катаев, блестяще продолживший к концу жизни циклом новаторских повестей стилистические достижения предшественников.

Некоторые из писательской плеяды «шестидесятников» сегодня уже морально устарели, другие, и в первую очередь, триединый поэт-бард-прозаик Окуджава, по-прежнему служат вдохновляющим примером мастерства, «золотым сечением» для современной российской литературы, залогом ее нынешних и будущих свершений. Сегодня эти свершения, и немалые, происходят, главным образом, в прозе. Но черед поэзии непременно настанет, а значит, нас ждут новые читательские радости, новые открытия и новые плодотворные обращения к нашему живому литературному наследию.

Юрий Осипов



ПОРТФЕЛЬ ГОГОЛЯ



...Всю дорогу от Петербурга шел мелкий, наводящий тоску дождь. Не по-июньски холодный ветер гнал впереди возка низкие хвостатые тучи. Гоголь кутался в шинель, заворачивал ноги полостью, однако ничто не помогало.

Проклиная погоду, грязь и плутовство станционных смотрителей, добрался он наконец до Тверской заставы. Свежий номер «Московских ведомостей» сообщал, что дворцовая контора продает на Пре-

сненских прудах «карасей отборных». Рядом шли объявления о продаже турецких шалей, караковых жеребцов, «годных для господ офицеров». И какая-то безутешная коллежская ассесорша истошно взывала: «Умершего мужа моего дворовый человек Алексей Журилко, 28 лет, росту..., белокур, глаза серые... бежал».

Гоголь читал и усмехался. Это были прямо-таки его герои за трапезного дня скудеющей «столицы» древней летом 1832 года, когда писатель впервые приехал сюда. Он вез в Москву потертый кожаный портфель с золоченым замочком, в котором лежали начальные наброски второго тома «Мертвых душ». Она уже вызревала в его мятущейся душе, эта книга, наполненная разящим смехом, от которого почему-то щемит сердце... И давний замысел комедии, так понравившийся Пушкину, постепенно обретал ясные очертания. Даже название придумалось — «Владимир третьей

степени». Вот, правда, цензура... Комедия ведь про высшее чиновничество, да про орден, дающий дворянство.

В Москве же нужные люди — добрейший собрат по перу Сергей Тимофеевич Аксаков, заодно служивший в цензурном ведомстве. Директор управления московских театров, знаменитый исторический романист Загоскин. Вездесущий архивист, историк, издатель и литератор, с которым считаются в верхах, Михайла Петрович Погодин. Ну и конечно гордость российской сцены, способный заступиться за друга-драматурга, Щепкин.

Заканчивался принесший ему славу петербургский период жизни Гоголя, дальнейшие планы писателя были связаны с Первопрестольной, которую он всегда называл своею родиной. Там начиналась университетская деятельность Гоголя на кафедре всеобщей истории. Там он неизменно находил бескорыстную помощь и поддержку. Оттуда пошла его литературная известность.

* * *

Едва слышав от заставы мерный перезвон «сорока-сороков», Николай Васильевич встрепнулся и, невзирая на начинающуюся простуду, велел проехать через Красную площадь. Только поклонившись кремлевским соборам и окинув взором пеструю уличную толчею, он направился в любимую пушкинскую гостиницу — в дом Обера на Тверской.

Первой его заботой было проверить портфель с рукописями, в другом хранилось скудное белье. Истинный поэт вещей, погружавший читателя в вакханалию быта, Гоголь, будучи бездомным скитальцем «все свое носил с собой». Собственно, и носить-то было особенно нечего. В молодости он питал прощательную слабость к дорогим красивым безделушкам — затейливым ва-зочкам, брелокам, ярким шейным платкам. С годами, в особенности после знакомства в Италии с аскетом и подвижником кисти Александром Ивановым, строго ограничил себя во внешнем комфорте, и лишь тонкая золотая цепочка часов поверх темного бархатного жилета оставалась как бы стыдливой данью былым увлечениям.

Иное дело обувь. Николай Васильевич много ходил пешком; ноги у него часто опухали, и он ценил мягкие удобные сапоги, сам придирчиво выбирал для них кожу, бережно ухаживал за ними и всегда держал про запас неношеную пару сапог. В них его и похоронили.

Когда Александра Осиповна Смирнова-Россет преподнесла ему однажды изумительный портфель английской работы, Гоголь со вздохом повертел его в руках и вернул со словами: «Подарите лучше Жуковскому». Он шутил, что избавляется от собственных слабостей, наделяя ими персонажей своих произведений, и как никто умел обставлять литературных героев вещами.

Вспомним удивительную чичиковскую шкатулку, фрак «наваринского дыма», ритуальную примерку Павлом Ивановичем новых сапог. А Коробочка, Плюшкин, Хлестаков, Подколесин... Едва ли не первым в отечественной литературе Гоголь понял значение обиходной вещи для острой психологической характеристики человека, тогда как, скажем, у того же Жуковского вещь, по большей части, — знак памяти.

Отмеченные мемуаристами странные пуховые шляпы Гоголя, его неопиcуемый зеленый плащ, бабьи капоры, в которые он мог нарядиться, встав с пером за конторку и на разные голоса пробуя вслух реплики разных персонажей, — все эти «причуды гения» помогали замкнутому, болезненно ранимому художнику мистифицировать не в меру любопытных и побеждать природную робость и застенчивость, обживаясь в актерских личинах придуманных героев. Сюда же относится и нарочитая демонстрация «особых» рецептов приготовления итальянских макарон и «гоголь-моголя» («Гоголь любит “гоголь-моголь”, — приговаривал он при этом.). Или «бенкендорфа», т.е. жженки с голубым пламенем под цвет жандармских мундиров.

* * *

Личных вещей Гоголя дошло до нас очень мало. Их, как уже замечено, у того, чья жизнь пролетела в пути, на чужих квартирах, *вне быта*, было немного. Тем больше эти вещи значили для него.

Они сопровождали Гоголя десятилетиями, многое видели, многое помнят. На них печать его вкусов и привычек. Обкусанное перо. Карманные часы фирмы Буре с выцарапанной на задней крышке надписью: «Гоголь, 1831 г.». Вышитая домашняя шапочка (прямо булгаковская из «Мастера и Маргариты»!). Стекланный стаканчик для лекарств с золоченым ободком. Другой, фарфоровый, в форме бочонка, в котором Гоголь держал перья и карандаши и который он собственноручно склеил, когда тот треснул. Потертый кожаный портфель.

Сколько волнующих историй связано с ними, сколько имен и судеб!

* * *

У Щепкиных, в гостеприимном доме у Каретного ряда, со старым тенистым садом, садились обедать поздно, и Гоголь успевал к первому блюду после своих излюбленных долгих прогулок по Москве. В прихожей сбрасывал крылатку, поправлял перед зеркалом взбитый кок русых волос и, прижав к груди заветный портфель с рукописью новой комедии, быстро проскальзывал в гостиную. За чаем часто читал пьесу труппе Малого театра, показывая актерам, как нужно исполнять ту или иную роль. С.Т. Аксаков, вспоминая чтение Гоголем «Женитьбы», пишет: «На сцене... эта комедия не так полна, цельна и даже не так смешна, как в чтении самого автора».

...Запахнув халат и зябко поеживаясь, Гоголь подошел к окну, нерешительно побарабанил пальцами по стеклу и неожиданно разом отворил обе фрамуги. В лицо пахнуло запахом прелой земли и жасмина. В чистом утреннем небе над Девичьим полем оголтело носились ласточки. Огромный запущенный погодинский сад искрился каплями росы.

Гоголь присел на подоконник, потрогал отцветающую гроздь сирени и непонятно чему улыбнулся. Потом затворил окно, медленно вернулся к конторке, бесцельно, вроде бы, передвинул на верхней доске маленький стекланный стаканчик с пилюлями и фарфоровый бочонок. Неуверенно потянул из него остро очинен-

ное перо с глянцевым сизым концом. Отложил. Взялся за то, что пожиже и покороче, и, уже сосредоточенно, обмакнул в чернильницу, откинув левой рукой обложку тетради...

Он особенно дорожил этими ранними часами, когда дом еще не наполнили детские голоса и можно в тиши и покое изготавиться к трудам дня.

Еще в начале 1836 года Погодин приобрел настоящую городскую усадьбу, превратившуюся со временем в яркую достопримечательность культурной Москвы. «Сменялись поколения и направления: один Погодин не менялся и был в постоянном дружеском общении с людьми всех возрастов и классов». Здесь читали свои произведения Островский и Писемский, выступали с устными рассказами Щепкин, Садовский, Горбунов, играл Рубинштейн, еще ранее бывал Пушкин, затем — Аксаковы, Хомяков, Тургенев, Тютчев, Толстой. Погодинский дом запечатлен на страницах «Войны и мира», в главе, где Пьера Безухова французские солдаты приводят на допрос в «большой белый дом с садом». В одном из флигелей хозяин содержал частный пансион, в котором учился Фет. В главном же здании помещалось уникальное погодинское древлехранилище. Познакомиться с его материалами специально приезжали видные западноевропейские ученые.

В этом-то историческом доме Гоголь одно время останавливался, приезжая в Москву. Ему отводили большую комнату мезонина. А внизу, вдоль всего фасада, тянулся кабинет хозяина — три просторных комнаты, сплошь заставленные книжными шкафами, увешанные картинами и гравюрами. Это было место традиционного вечернего моциона писателя, спускавшегося к Погодиным после работы.

Тогда он «широко распахивал двери всей анфилады передних комнат, и начиналось хождение... В крайних комнатах ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые десять минут выпивал по стакану. На отца, сидевшего в это время в своем кабинете за летописями Нестора, это хождение не производило никакого впечатления... Изредка только, бывало, поднимет

голову на Гоголя и спросит: “Ну что, не находился ли?” — “Пиши, пиши, — отвечает Гоголь, — бумага по тебе плачет”. И опять то же: один пишет, а другой ходит.

Ходил же Гоголь всегда чрезвычайно быстро и как-то прерывисто, — продолжает вспоминать сын Погодина, — производя при этом такой ветер, что стеариновые свечи оплывали к немалому огорчению моей бережливой бабушки. Когда же Гоголь очень уж расходится, то бабушка закричит горничной: “Груша, подай-ка теплый платок, итальянец (так она звала Гоголя) столько ветру напустил, так страсть”. “Не сердись, старая, — скажет добродушно Гоголь, — графин кончу и баста”. Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх».

Известность утомляла его. Но ежегодно, 9-го мая, в свой день рождения, Гоголь преображался. В липовой аллее накрывали длинный праздничный стол с букетами сирени, вином от Депре, холодными закусками и сладким пирогом, начиненным цукатами, — шедевром надменного Порфирия из купеческого клуба. Расходились часов в одиннадцать вечера, облаканные вниманием именинника.

Так было и в первый знаменательный обед Гоголя на Девичьем поле 9-го мая 1840 года. С утра он успел самолично проследить за всеми приготовлениями, вникнуть во все кулинарные подробности и теперь наблюдал, как погодинские дети развешивают в саду над столом разноцветные китайские фонарики и прячут в ветвях деревьев шуточный сюрприз — клетки с соловьями, которые должны были пробудиться и запеть под стук ножей и вилок обедающих гостей...

А те уже начали съезжаться. Показалась на ступеньках крыльца статная фигура Александра Тургенева. Блеснули насмешливые очки Вяземского. На веранде великосветская красавица Черткова, чей язвительный ум делал ее, как и Смирнову-Россет, опасной собеседницей, к вящему ужасу погодинских бабушек преспокойно покуривала трубку, нарочно облачившись в нелепое старушечье платье. Под руку с милейшей супругой Екатериной Михайловной, сестрой поэта Языкова, прошеествовал неотразимый поэт-философ

и философ-поэт Алексей Степанович Хомяков. Прибыли Елагины, Загоскин, Дмитриев, Шевыревы. Пора было, кажется, и за стол.

Гоголь достал из жилетного карманаменные часы и ахнул — шестой час, оригинальный мясной пирог перестоятся. Он собрался было броситься на кухню отдать необходимые распоряжения, как вдруг увидел направлявшегося к нему по дорожке невысокого армейского поручика с печальными глазами и невольно замер, узнав в нем Лермонтова.

Они обменялись парой незначащих фраз, но спустя какое-то время надолго исчезли вдвоем из-за стола, где Лермонтов почти не притрагивался к еде и питью, нервно катая по скатерти хлебные крошки и отвечая на обращенные к нему вопросы вежливыми недомолвками. Гости, которые разбрелись после сытного обеда по саду, нашли этих двоих на уединенной скамейке у пруда. Гоголь, достав из неизменного портфеля смятые листы, читал Лермонтову начало «Женитьбы», а тот ему — отрывки из «Мцыри». Вскоре после этого он поспешно откланялся и уехал, а Гоголь до конца вечера был молчалив и погружен в себя.

Назавтра они встретились вновь на вечере у Свербеевой. И опять, при первой удобной возможности, уединились от остальных. Присутствовавший там Александр Тургенев упоминает об их долгой ночной беседе. О чем могли говорить наедине два великих наследника Пушкина? О себе, о НЕМ? Увы, это останется тайной.

Свидетель им было больше не суждено. Лермонтова ждал Кавказ. Гоголь отправлялся в Рим. И горестной эпитафией прозвучали оттуда его слова: «...Готовился будущий великий живописец русского быта... Но внезапная смерть вдруг его унесла от нас. Слышно страшное в судьбе наших поэтов».

* * *

...С Арбата послышалась первая сторожевая колотушка. Из свистящих жгутов метели вынырнула тумбообразная фигура фонарика в неохватном тулупе и завозила у крайнего столба. Сугробы пошли гуще, санный след петлял между ними, прижимаясь местами к обледелым скрипучим тротуарам.

Гоголь сидел в санях замерзший, усталый. И так, у него отнимают последний кусок хлеба: он по уши залез в долги за границей, надеясь вернуть их после издания «Мертвых душ». И вот теперь его поэму, которой он отдал семь лет жизни, и в которой отныне заключен весь смысл его существования, запретила печатать цензура.

Постарался Погодин, передав рукопись, без ведома писателя, в московский цензурный комитет. Хотел как лучше — и напортил. Председатель Голохвастов, только услышав название, вскричал голосом древнего римлянина: «Нет, я этого никогда не позволю! Мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертия души!». А когда взял в толк, что речь идет о ревизских душах, еще пуще взбеленился: «Нет этого и подавно нельзя допустить! Это значит против крепостного права!» Оставалась одна надежда — Белинский. Пусть попробует в Петербурге уломать через влиятельных друзей цензуру.

А отвезти Белинскому рукопись взялся Василий Петрович Боткин, даровитый литератор из московских купцов. К нему сейчас Гоголь и направлялся, прижимая к груди окоченевшими руками распухший портфель. Тот самый, неизменный.

Велев флегматичному извозчику обождать, Николай Васильевич выбрался из возка на безлюдную в этот вечерний час Маросейку, толкнул тяжелую калитку и зашагал по двору к дальнему флигелю. Через полчаса он покинул боткинский дом. Заиндевевшая извозчицья лошадка, похрапывая, спускалась под гору. Поземка лизала полозья. И долго еще мерцало позади сквозь причудливый переплет голых ветвей оконце одинокого флигеля.

Гоголь еще вернется туда и с благодарностью вручит Боткину подписанный ему на память экземпляр только что вышедшего из печати первого тома «Мертвых душ». А уж затем поедет с ним, пристроив на коленях портфель, в аксаковское Абрамцево, к Путьтям в Мураново, к Смирновой в Калугу, в Бегичево, в Спасское... Он любил быть в пути и использовал для очередной поездки любой удобный повод.

Дорогой из вместительного портфеля извлекалась «подручная энциклопедия» — толстая канторская тетрадь, названная Гоголем «Всяческая всячина», куда бисерным почерком заносились названия встреченных растений и новые подслушанные слова. Эту книгу юности, книгу надежд, начатую записями народных преданий и историческими штудиями, Николай Васильевич увез мальчиком из малороссийского имения дальнего родственника матери и не расставался с нею до смертного часа. Она хранится в рукописном фонде бывшей Ленинки (нынешней Всероссийской Государственной библиотеки), являясь как бы зеркалом интересов и увлечений писателя на протяжении всей его жизни.

Однако и гулять по Москве он тоже любил, пока позволяло здоровье. И во время этих пеших прогулок становился прежним — озорным, веселым, любопытным. Таким он запомнился членам кружка Островского, которые студентами с трепетом бегали на Никитский бульвар «любоваться, как гуляет Гоголь», — зимой в долгополой шубе, летом в испанском плаще без рукавов.

Здесь, на Никитском бульваре, так и не обзаведясь под конец собственным углом, он поселился у графа Александра Петровича Толстого в последний, трагический период жизни. Ему были предоставлены две нижние комнаты справа от входа в сумрачном двухэтажном доме № 7 рядом с Арбатской площадью, во дворе которого установлен замечательный андреевский памятник Гоголю.

Обер-прокурор Святейшего Синода, член Государственного совета А.П. Толстой запомнился современникам как человек крайне неприятный и реакционный. Даже консервативный Аксаков считал «решительно губительным для Гоголя знакомство с Толстым, откровенно заявившим о своей неприязни к гоголевским сочинениям и не пожелавшим принять из рук писателя законченную рукопись второго тома поэмы, которую Гоголь в ту же ночь предал огню».

* * *

Изможденный человек в вольтеровском кресле, с наброшенным на колени пледом, шевельнулся и подал слабый знак рукой.

Лекарь Зайцев, навестивший в тот день больного по просьбе его лечащего врача Тарасенкова, на цыпочках приблизился и опустился рядом на стул. Гоголь перевел на него затуманенный взгляд, поправил сползающую на затылок круглую шапочку и неожиданно попросил Зайцева рассказать о себе.

Скромный лекарь растерялся. Он знал, что писатель вот уже которую неделю соблюдает обет молчания, отказывается от еды. Человек в кресле между тем ободряюще улыбнулся, и Зайцев сразу поборол волнение, признавшись, что втайне сочиняет стихи. И Гоголь, в последние дни никого не принимавший, отрекшийся от мира и творчества, предложил ему что-нибудь прочесть.

Внезапная симпатия к бедному незнакомцу была тому причиной, либо же он вспомнил, как самонадеянным юношей отправился завоевывать Петербург с незрелой романтической поэмой «Ганс Кюхельгартен»? (После жестокого разноса в печати начинающий Гоголь, сгорая со стыда, скупал по книжным лавкам экземпляры злосчастной поэмы.) Так или иначе, но безвестный лекарь дрожащим голосом читал в тот день гениальному художнику, готовившемуся к смерти, нескладные вирши собственного сочинения. Гоголь слушал внимательно и серьезно, а затем, сняв с головы шапочку, подарил ее на прощание Зайцеву. Шапочку Мастера.

Должно быть, она досталась ему в Италии, и Николай Васильевич с тех пор привязался к ней, надевал за работой, поскольку всегда мерз.

Он чувствовал приближение конца и спешил. В двух типографиях готовились к изданию его книги. На круглом столике посреди комнаты громоздились корректуры. Гоголь вычитывал их тщательно, снова и снова отыскивая погрешности слога, вымарывал безжалостно все неясное, случайное, поспешное. Надо было успеть до весны выдать в свет полное собрание своих произведений. И уехать на юг, в Одессу, к теплему морю. Но как уедешь, когда здесь в доме на Никитском бульваре прячет он в портфеле на конторке главное — «Мертвые души», второй том. Совершенно законченный и переписанный набело в синих тетрадках, схваченных бечев-

кой. Прячет от себя и от людей, хотя и читал уже отрывки некоторым приятелям.

Его видели на коленях у алтаря плачущим. На паперти, торопливо раздающим милостыню нищим и кликушам и просящим у них прощения за что-то. У ворот Преображенской больницы, обители умалишенных, и в Оптиной пустыни, у старцев-отшельников... Когда темнело, он поднимался к графине Толстой, чтобы стоять с нею вечерю и класть перед образами покаянные поклоны. Ночами просиживал над Евангелием, писал «сочинение о божественной литургии», раздавал знакомым листки с молитвами. И все — в напрасных попытках изгнать беса сомнения.

Странно было наблюдать подобное от автора «Ревизора», «Невского проспекта» и «Мертвых душ». Ползли по Москве слухи о неизлечимой душевной болезни Гоголя. Злорадствовали враги, друзья печально вздыхали. Внезапно ему полегчало. Настолько, что он вновь принялся за работу и даже затеял у Кошелевых на Поварской музыкальную вечеринку с малороссийскими песнями. Но накануне, в субботу 27 января 1852 года, тридцати пяти лет отроду скончалась в тифу Елизавета Михайловна Хомякова, сердечный друг и конфиденгент писателя, которой он поверял самые сокровенные мысли чувства.

Снежная, метельная выдалась в том году зима. Ледяной ветер перехватывал дыхание. До Тверской сквозь сугробы не пробьешься. Гоголь насилу сыскал извозчика. Ворвался к Хомяковым, весь дрожа, с криком: «Погодите! Погодите! Я вымолю ее у смерти!» Потом, забыв запахнуть шубу, погнал извозчика к Страстному монастырю, оттуда побежал по бульварам домой и в ознобе слег.

Несколько дней пролежал без сил, с температурой, под одеялами и шубами, все не мог согреться. Наконец постепенно пришел в себя, голова прояснилась, и уже перебрался было с дивана к конторке. Но тут появился, скрипя сапогами, потирая с мороза мясистые волосатые руки, преподобный отец Матвей в выцветшей рясе, с которым Гоголя на беду свел Толстой. Опять — проповеди, наставления, призывы к покаяния. Непосредственно вслед за

отъездом духовника и началась у Гоголя «та духовная агония», которая повлекла за собой стремительное физическое разрушение.

Доктор Тарасенков подтверждает: «С этих пор он бросил литературную работу... стал есть весьма мало, хотя по-видимому жестоко страдал от лишения пищи... и сон умерял до чрезвычайности». Приближалась развязка.

* * *

Слабо потрескивая, догорает на конторке свеча. Колеблется желтый свет лампадки в углу перед образом Николая Мирликийского, чудотворца. В темноте, откинувшись на спинку кресла, Гоголь слушает вой ветра за окном и царапанье сучьев по стеклу.

Мерный бой часов — три раза — заставил его очнуться. Тяжело ступая, подошел он к конторке, задержался взглядом на любимых печатках с ручкой слоновой кости, усмехнувшись про себя, что не к чему будет прикладывать их больше, и осторожно вытащил из портфеля связку тетрадок. Кликнув из соседней комнаты Семена, велел растопить печь. Напуганный спросонья мальчик, чуя неладное, плакал, умоляюще шепча: «Не надо, барин! Не надо!» — «Молчи, молчи!» — тоже шепотом отвечал Гоголь, приоткрыв чугунную заслонку, начал стоймя всовывать между поленьями исписанные тетради.

Отблески пламени заходили по печной гардинке зеленой тафты, по крытому зеленым сукном столу и по ширме у кровати в спальне. Ровные узорчатые сточки корчились в огне, не желая исчезать, но все же страница за страницей обращались в пепел. И с ними навсегда уходили от нас и наших потомков похожий на масляный блин Петр Петрович Петух, Тететников, генерал Бетрищев и неузнаваемо преобразившийся Павел Иванович Чичиков. Ах, если бы рукописи и впрямь не горели!..

Когда огонь принялся пожирать последнюю тетрадь, Гоголь вернулся в спальню и лег на кровать, повернувшись лицом к стене. Больше его ничто не трогало. Все последующие дни он упорно молчал, отводил слабой рукой пищу, лекарства и лишь едва слыш-

но бормотал в ответ на самые докучливые приставания: «Оставьте меня, мне хорошо».

21 февраля (4 марта по новому стилю), под утро, он проснулся и жалобно вскрикнул. Прикорнувший у кровати, не раздеваясь, мальчик Семен вскочил и увидев, что барин его, весь в поту, мечется по постели, бросился за хозяином.

А Гоголь уже ничего не слышал. Задыхаясь, он бежал вверх по скользким ступеням к брызжущему впереди свету. Но ступени оборвались. «Лестницу! — прошептал Николай Васильевич, пытаясь приподняться. — Лестницу... скорее...».

Когда граф вбежал в комнату, все было кончено. Гоголь умер.

Не успели еще прах покойного перенести в маленькую университетскую церковь, как к Толстому явился квартальный. Он потребовал документы скончавшегося отставного коллежского ассесора и собрался произвести официальную опись оставшегося после него имущества. К полному недоумению полиции, никаких документов — ни паспорта, ни свидетельства об отставке — в бумагах Гоголя обнаружено не было. Имущество же писателя состояло по описи ровно сорок три рубля восемьдесят копеек.

Личные вещи Николая Васильевича увезла в Васильевку его сестра, Елена Быкова, передавшая затем часть из них Москве. В том числе потерянный кожаный портфель.

25 февраля 1852 года Гоголь был погребен иждивением Московского университета на кладбище Донского монастыря. Грановский предложил Толстому сделать похороны Гоголя общественным событием. Однако граф «отказался взять погребение на свой счет, говоря: Если так, пусть хоронит, кто хочет».

С утра припустил легкий снежок. Деревья, мостовые, крыши домов переливались и сверкали на солнце голубыми искрами. Ясная солнечная погода держалась весь день. Нескончаемая вереница людей тянулась на Манежную, к университету, проститься с национальным гением. Встревоженный московский генерал-губернатор граф Закревский, опасаясь «беспорядков», распорядился закрыть проезд по Моховой и Никитской, отправив туда наряды полиции и тайных агентов Третьего отделения.

Отпевание, утрення и вечерня панихиды шли под негромкий звон колокола университетской церкви. Гоголь лежал в гробу в лавровом венке. Камелии, иммортели, лилии были рассыпаны по черному сюртуку. Народ все прибывал. Студенты, мелкие чиновники, мастеровые, модистки, дворовые люди приближались к помосту, плакали, молились, целовали желтую холодную руку и, сорвав на память листик венка или лепесток цветка, оставались на площади в ожидании погребения.

Пять профессоров Московского университета подняли гроб на руки и понесли к ожидавшей толпе. Увы, не было среди них ни Погодина, ни Шевырева, ни Константина Аксакова, ни Хомякова. Взбешенные тем, что похоронами распоряжаются ненавистные им профессора-«западники», они демонстративно отказались участвовать в траурной процессии.

Манежная площадь, Моховая и Никитская чернели от простого люда. И все тотчас обнажили головы при виде плывущего из дверей церкви гроба. Не дав водрузить его на погребальную колесницу, какие-то худо одетые люди бережно приняли гроб с телом великого писателя из рук почтенных профессоров и понесли до самого Данилова монастыря. И такое несметное число народа двигалось за гробом Гоголя, столько пролеток и экипажей, что какой-то проезжий мещанин остановился в изумлении и спросил одного из студентов: «Неужто все это его родственники и друзья?» «Да, — ответил студент. — А вместе с ними и вся Россия».

Уже смеркалось, когда гроб с телом Гоголя опустили в глубокую могилу рядом с могилами поэта Языкова и Екатерины Михайловны Хомяковой. На могилу положили надгробный камень, на котором сделали надпись: «Горьким словом моим посмеются».



СЕРДЦА ТРЕХ

(Василий Жуковский и сестры Протасовы)



...Накануне они допоздна засиделись в трактирии, любуясь бешеной сарабандой. А утром отправились переносить «на лету» в альбомы виды Рима. Оба были страстными рисовальщиками, но с Жуковским Гоголь сравниться не мог и сам это признавал...

Едва вырвавшись из карнавального водоворота Корсо, Василий Андреевич уединился у фонтана на площади Колонна, но вместо скульптурного декора на шероховатом альбомном листе неожиданно возник пленительный профиль Маши Протасовой, с которой никогда не расставалось его сердце. С ней и с ее старшей сестрой Александрой. Обе они сейчас были далеко.

Жуковский вспомнил, как впервые переступил порог их родительского дома в тульской усадьбе Муратово. Незаконнорожденный сын пленной турчанки Сальхи и своенравного местного помещика Афанасия Бунина легко мог бы навсегда остаться прозябать в белевском уезде на какой-нибудь скромной канцелярской должности. Но судьбе было угодно распорядиться иначе. В гости к Протасовым 30-летний Жуковский приехал известным поэтом-романтиком, выпускником Московского университетского Благородного пансиона.

В пронизанную солнцем гостиную навстречу ему следом за резвящимся пуделем со смехом выбежали две юные девушки в

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru